

Дерево

Он мешал им – старый тополь в два обхвата. Возрастом чуть меньше города, в котором вырос. Прежде здесь была тундра, потом лёг асфальт. И тополь вымахал на высоту восьмиэтажного дома. На ту же глубину тянулись в землю корни. Я выходил из подъезда, шёл по дорожке наискосок к тополю, задрал голову, смотрел, как шумит крона. Поздней осенью тополь сбрасывал листву, и чёрные кончики голых веток кололи пустое небо, ждали тепла.

Когда тополь обнесли забором из свежеструганных досок, стало ясно, что дни его недолги. Вот так, на виду, не хотели рубить, потому забор поставили. И справились только к вечеру. Возвращаясь с работы, я не увидел дерева на привычном месте. Заглянул в заборную щель. Из земли торчал изуродованный обрубок ствола.

Наутро подогнали экскаватор, сноровисто вырыли котлован, бетоном залили основание и сняли часть забора. Под вечер следующего дня, по традиции, на дощатом столе в центре бетонной основы распили шампанское.

Они все разошлись, когда я шёл мимо. На столе стояла пустая бутылка и десяток пластиковых стаканов. Ветер опрокидывал лёгкий пластик, сметал со стола...

Дом строили быстро. Технология канадская, рабочие из Китая. День они начинали с птицами, на птичьем языке переключались. И какой-нибудь Ли Бяо, ладя очередной блок, наверное, вспоминал другой дом, своё семейство где-нибудь в далёком Сычуане, и думал о том, как приедет через год, привезёт денег и подарки, и как его будут встречать и говорить, что Ли Бяо – труженик и кормилец.

Я всё реже вспоминал о вековом тополе, росшем на месте строящегося дома. «Был тополь, – говорил я себе, – а будет дом. Девять этажей, по канадской технологии. Разве плохо? Вот у меня жильё – так себе. Куплю квартиру. Простое человеческое счастье, чего ж ещё? А нет-нет и вспомню тополь, который мешал».

Через год китайцы уехали на историческую родину, а в дом стали вселяться жильцы. И я въехал в хорошую двухкомнатную квартиру. Обживался, покупал мебель, думал о женитьбе, о детях, которые заполнят тишину. Ночью, лёжа в кровати, я слушал, как живёт новый дом, как шелестит речью, переключается своими полостями, множится звуками шагов.

И в каменной кроне дома, связанной каркасом человеческого языка и общей судьбы, появилось новое. Оно приходило ночью, когда одни жильцы засыпали, а другие лежали без сна, всматриваясь во тьму. И я всякий раз ждал приходящее и слушал, как оно живёт во мне, как пробуждается другая жизнь. Другие соки поднимались из глубины. Я не противился этому. Общность, скреплённая одним, – разве не этого все мы хотим, не этого ищем? Разумная клетка единого тела. И прорастая сквозь меня ночью, а днём ожидая моего возвращения, это новое, без имени и числа, ветвилось и укреплялось.

То, что поднималось в нас, обживающих новый дом, питалось нашим ожиданием. Но чего же мы ждали?

Как обещание, которым повеяло, когда идут перемены, встал новый дом. Вырос на месте старого, но ещё крепкого дерева. У дома появилась душа, а, значит, надежда.

– Всё здесь, куда же ты? – окликал меня голос дерева.

– Но ведь я и не уйду, – возражал я ему.

– Вы – трава на обочине чужой дороги, – говорил голос. – Подует ветер и прильёт траву.

Я не знал, что ответить голосу.

Но мы жили в доме. И дерево проснулось в жильцах. В каждом пробудился срубленный тополь. Особенно остро я слышал в себе по ночам движение старых корней. На губах горчила листва. И мы вспомнили о небе.

Дерево крепло в нас. Под ветром крона дома разворачивалась в одном порыве. Ветер стихал, и дерево слушало голоса обитающих среди ветвей.

В своё время приходила осень. И тогда крона роняла усталый лист. Весной новые листья просыпались и жили своим, а дерево жило всеми. И через всех говорило с каждым.

Древесные тяги и крепи проросли сквозь квартирные стены, сквозь мебель, сквозь живущих в доме. Они заставляли задуматься о свободе. Чтобы сделать шаг, нужно было рвать древесную ткань. Для одних это было мучительно, а другие искали здесь корысть и забаву.

И тогда заговорили о необходимости перемен, и о том, что все они вольны поступать по своей прихоти и разумению. И каждый твердил только о себе и о своих желаниях. Всем хотелось быть выше дерева, растущего в них.

Мы больше не слышали голоса старого тополя. И не птичьи голоса звучали в ветвях, но одно только недовольное жужжание...

Завтра сюда придут люди с новыми, блестящими топорами. Они привычно срубят ослабевшее дерево, зальют основание бетоном и, соблюдая традицию, за грубым, наспех сколоченным столом, разольют вино в одноразовую посуду, выпьют и разойдутся до следующего дня.

Яблоко

Долгоня работает дворником.

Когда-то к нему обращались «Иван Сергеевич» – он был директором завода – а теперь он убирает окурки, подметает, следит за чистотой.

Почему Долгоня пошёл в дворники – он и сам бы не мог внятно ответить. Однажды, устав от своего директорства, он рассудил, что хорошо рано утром выходить во двор, чистить, убирать мусор, которого так много в жизни. Ко всему, работа дворника требует немного усилий, а результат виден сразу. И это должно уравновешивать чувства и наполнять душу покоем.

Подумав так, Иван Сергеевич уволился с родного предприятия, где он проработал всю жизнь. В домоуправлении его данные занесли в картотеку, а в трудовую книжку – соответствующую запись. Ему выдали спецодежду, инструмент, определили территорию «от угла до угла» и пожали в напутствие руку.

Такой поворот судьбы называют вывертом, но Долгоня принял его органично. И был ведь сознательный выбор, сделанный в твёрдом уме. И знакомые Ивана Сергеевича говорили за его спиной: «Вот так вот...», что могло означать очень многое, или совсем ничего.

Когда работа привычна и необременительна, а руки знают, что делать, в голову приходят хорошие мысли. Для Долгоны это было очень важно, потому что он писал стихи, вернее, одно единственное стихотворение, совсем небольшое, в двенадцать строк. И можно было бы считать стихотворение написанным, если бы не последнее слово в третьей строке, которое никак не давалось.

Утром Долгоня надевает синий фартук, берёт в руки метлу и думает о потерянном слове. Летом он подметает тротуар, собирает пустые пластиковые бутылки, осенью сгребаёт опавшие листья, а зимой – снег с дорожек. Он внимательно смотрит перед собой, как будто искомое лежит под ногами, в пыли, среди окурков, листьев и снега. Долгоня не спешит, мерно взмахивает метлой и терпеливо ждёт.

Иногда ему кажется, что, может быть, он вовсе и не хочет дописывать своё стихотворение. Найдётся слово, стихотворение закончится, и станет невыносимо скучно. И тогда он замирает посреди двора, опираясь на ручку метлы, как на древко знамени, словно битва проиграна, войско пало, а он остался один. И какой-нибудь жилец, идущий мимо, спрашивает деловито:

– О чём думаешь, Сергеич? И Долгоня в ответ:

– Неправильно оно всё...

– Это как посмотреть, – говорит со значением жилец и спешит дальше.

В острые минуты кризиса Долгоня уходит в дворничью, ложится на топчан и негромко читает своё стихотворение вслух. Он умолкает в том месте, где зияет прореха, а потом читает дальше. И когда прочитывается последняя строчка, стихотворение ещё звучит где-то внутри у него, затихая. И не так язвит отсутствующее слово. Он вспоминает о своей работе и поднимается убирать, чистить, скрести.

Нельзя сказать, что недописанное отравляло жизнь. В стихотворении говорилось об оправдании живущего перед высшим началом, о том, что только и нужно донести данное тебе от рождения до самого конца, не повредив, не испортив, и что в этом-то и лежит простая задача человека. Но последнее слово в третьей строке своим отсутствием отрицало эти истины. Жизнь тогда представлялась хаосом необузданного двора. И нужно было начинать сначала. Долгоня делал широкий взмах метлой, и стихотворение разворачивалось, наполняя его.

Стихотворение Долгоня писал медленно, гораздо быстрее проживалась жизнь. И странным образом теперешнее его дворничество и запавшее слово соединялись и требовали какого-то разрешения, не нахально, не навязчиво, но с очевидной настойчивостью.

Казалось бы, найди созвучие в лад – и дело с концом! Долгоня только хмурится, качает головой: «Легко соблазниться-то...» И сердито сметает мусор своим инструментом.

Делать достойно нехитрую работу – в этом дворнику Долгоне виделось что-то фундаментальное. Вот и для Творца создание мира не представляло особого труда, но сколько величия в замысле и воплощении: «И увидел Бог, что сделанное им хорошо!» И первые люди, не в порфирах и без корон, – они были истинные цари! Власть над вещью, это когда в первый раз, от начала: дом, плуг, пастушья дудка...

– Паси, паси своё стадо! – шепчет в рыжую бороду Долгоня и ведёт метлой новую строчку.

Однажды, на исходе лета, Долгоня лежал в дворничьей и рассуждал про себя, что подошло время умирать. Не он решил так, а что-то внутри у него поднялось из сердечной глубины и сказала: «Хорошо бы подготовиться...» Перед этим он исповедовался, как положено, и причастился.

Было время яблочного Спаса. И свежее яблочко – крепкая «антоновка» – приятно холодило ладонь старика.

Долгоня отложил яблоко, прикрыл глаза и подумал о седьмом дне Творения, о блудном сыне Адаме и о том, что однажды сын вернётся. И тогда всякая вещь у Отца займёт своё единственное место, ей положенное. Пришло время и ему возвращать... Вот и Отец небесный стоит в изголовье, смотрит с тихим упрёком. Долгоня знает свою вину. И можно ли оправдаться?

Потерянное слово яблоком ложится в ладонь. Простое слово. Как же он мимо проходил? И ведь всю жизнь искал!

Долгоня кладёт яблоко себе на грудь, а это птица. И птица сейчас улетит. Ему не страшно, потому что он и есть птица, яблоко, слово. Отец кивает головой, протягивает к нему руку – и птица легко вспархивает.

Легко дворнику Долгоне. Он легче птицы, легче слова.

– Иван Сергеевич! – зовут его из темноты.

– Иду я... – откликается Долгоня.

Яблоня шумит на ветру, роняет яблоки.

